

1. ОСКОЛОК

Петя — или, как он теперь назывался, прапорщик Бачей — услышал одновременно два звука: свист гранаты и рывок воздуха. Никогда еще эти звуки не были так угрожающе близки и опасны.

Затем его подкосило, подбросило вверх, и он на лету потерял сознание.

Когда же он открыл глаза, то увидел, что лежит щекой на земле. Он чувствовал, как от удара об землю гудит все его тело, в особенности голова. Вместе с тем он видел, как волочится по земле пыль и дым того самого снаряда, который только что разорвался рядом.

Из свежей воронки тянуло тошнотворно-острым запахом жженого целлулоидного гребешка.

“Значит, я не убит, — подумал он. — Но что же со мной делается? Я лежу, а вокруг бой. Наверное, я ранен. Но куда?”

Едва он это подумал, как сразу ощутил боль в двух местах: болела голова и болел живот, как будто бы по нему изо всех сил ударили палкой.

Петя потрогал голову, на которой по-прежнему крепко сидела стальная каска. Ощупав каску, он обнаружил крупную вмятину от осколка. Так вот почему болит голова и так оглушающе звенит в ушах. Но это не ранение, а в

худшем случае контузия. Значит, он ранен не в голову, а в живот. Он ужаснулся. Ранение в живот почти всегда смертельно. Это знали все фронтовики и больше всего боялись раны в живот.

Холодный пот выступил у Пети на лбу под каской. Он не решился сразу посмотреть на свой живот. Сначала он скользнул глазами по груди и увидел свернутый в скатку новенький непромокаемый офицерский плащ, который перед атакой надел по-солдатски через плечо.

Теперь этот плащ был изорван осколками в ключья. Сигнальная ракета, которую Петя продолжал сжимать в кулаке, была перерублена осколком, и горячая смесь сыпалась из картонной трубки.

Прапорщик Бачей был артиллерийским офицером при пехотном батальоне. Должность, недавно введенная в армии. Его обязанность заключалась в том, чтобы во время атаки находиться в пехотной цепи, и, если нужно, перенести артиллерийский огонь вперед или назад, то пускать красную или зеленую сигнальную ракету. Он только что собрался пустить красную ракету, чтобы перенести огонь вперед, но не успел.

Щегольской френч — новенький, с иголки, — с четырьмя большими карманами на груди и на бедрах был кое-где запачкан землей.

Живот продолжал зловеще ныть. Петя сделал

над собой усилие и наконец заставил себя посмотреть на живот. Он ожидал увидеть рваную громадную рану, но ее не оказалось. Нижняя часть френча была не только цела, но даже нисколько не запачкана землей.

Петя осмотрел свои руки, ноги в недавно сшитых хромовых сапогах, пошевелил туловищем, прижатым к земле.

К своему крайнему удивлению, радости, но вместе с тем и легкому разочарованию, Петя понял, что он цел. На нем не было ни одной царапины.

Это меняло дело.

Раз ты не ранен, то нечего лежать на земле, а надо подниматься и поскорее догонять цепь, которая уже перевалила за гребень высоты, откуда слышалось протяжное стоголосое “ура”.

Высоко над головой туда и обратно с безжалостным скрежетом, свистом и всхлипываниями пролетали снаряды разных калибров, чиркали по земле и посвистывали в воздухе шальные пули, и не так-то легко было заставить себя оторваться от матушки-земли и встать на ноги.

Все существо Пети протестовало против необходимости снова идти в огонь.

Другое дело, если бы он был ранен. Ну хотя бы немножко. Тогда он имел бы право остаться на месте, уползти назад, выйти из-под обстрела и хотя бы на некоторое время освободиться от

ежеминутной возможности смерти.

Петя уже воевал два года, только что дослужился до прапорщика, имел солдатский георгиевский крест, но каждый раз в бою испытывал все то же суеверное чувство неизбежной смерти именно сегодня.

С течением времени он научился управлять этим изнурительным чувством, которое, впрочем, бесследно исчезало, как только проходила опасность.

Прижавшись к земле, Петя продолжал самым внимательным образом осматривать себя, втайне надеясь найти хотя бы маленькую рану. Он надеялся на рану, как на чудо.

Раны не было.

Тогда Петя поднялся на ноги. Отряхиваясь от земли, он еще раз с сожалением посмотрел на побитый осколками плащ.

Совсем близко он увидел двух окровавленных мертвых солдат с короткими саперными лопатками в кожаных чехлах на поясе и понял, что солдаты убиты тем же самым снарядом, который свалил его взрывной волной.

Делать нечего, надо догонять роту.

Петя бросил испорченную ракету, вытащил из-за пояса другую, исправную. Приготовил и, продолжая чувствовать во всем теле угрюмое гудение, сделал несколько шагов по вскопанной снарядами земле.

В это время к нему подбежал прапорщик

Колесничук.

— Петька, что с тобой? Ты ранен?

— Ничего подобного, — с плохо скрытой досадой сказал Петя.

— На тебе лица нет.

— Еще чего!

— А я говорю, что ты ранен.

Колесничук стал всматриваться в Петино лицо.

— У тебя разорвалось прямо-таки под самыми ногами. Я видел. Не может быть, чтобы ни один осколок не зацепил.

— Зацепил, да только не тело, — с иронией сказал Петя, показывая изодранный плащ.

— Невероятно! Да нет же. Пари, что ты ранен. Иду на что хочешь!

С этими словами добряк Колесничук стал со всех сторон осматривать Петю.

— Я, наверное, все же контужен, — слабым голосом сказал Петя. — Адская головная боль. И головокружение. Положительно не могу держаться на ногах.

Он преувеличивал. Конечно, он отлично мог держаться на ногах, и голова у него уже совсем не болела, а только шумело в ушах, да и то не так сильно, как сначала.

Петя оперся на плечо товарища.

— Лучше я здесь где-нибудь отлежусь, или, даже еще лучше, пусть меня отнесут в... околоток.

У Пети не хватило совести сказать — в лазарет.

— Как ты думаешь, Жора? — уже совсем жалобно проговорил Петя с легким стоном, за который сам себя презирал. Потом он сел на землю.

— Стой! Ага! — вдруг с торжеством крикнул Колесничук. — Вот сюда. Я так и знал. — С этими словами он коснулся пальцами Петиных галифе немного ниже кармана. — Ого, брат, сколько натекло!

Петя посмотрел и не поверил своим глазам. Карман его только что пошитых ультрамодных бриджей из дорогой темно-синей гвардейской диагонали теперь почернел и был мокрый, как будто в нем раздавили помидор.

— Видишь, сколько крови? — сказал Колесничук, болезненно морщась и чуть не плача от жалости к своему старому гимназическому товарищу, с которым они оказались в одной дивизии.

— Ишь, куда попало. По самому канту врезало. Петя увидел в мокром сукне маленькую рваную дырочку. Не могло быть сомнений: он ранен. И, по всей вероятности, ранен легко, потому что боли почти не чувствовал.

— Носилки! — крикнул Колесничук.

— Не надо, — сказал Петя неожиданно для самого себя. — Ты мне, Жора, только помоги перевязаться. Я остаюсь в строю. — И он строго

посмотрел на приятеля.

Это был именно тот случай, о котором Петя давно уже мечтал, как и большинство прапорщиков: быть раненым и остаться в строю.

Так как вокруг все еще продолжали посвистывать шальные пули, а время от времени рвались и снаряды, то оба прапорщика отползли немного назад и сели в лощинке, среди поломанного орешника.

Здесь Колесничук, продолжая морщиться и качать головой, разорвал индивидуальный пакет, который был привязан к его шашке, а Бачей расстегнулся, опустил галифе и вдруг увидел свою голую ляжку, пробитую насквозь осколком.

Вид этих свежих красных дырок, откуда сочилась и текла по белому телу — его телу! — жидкая кровь — его кровь! — так поразил Петю (в особенности яркость крови), что у него закружилась голова. Он успел схватиться руками за шею Колесничука, который в это время неумело, но решительно накладывал на рану розовую вату бинта.

Тут подоспели носилки.

Петя Бачей заскрипел зубами, когда прямо на раны стали лить черный, как деготь, японский йод. Затем фельдшер перевязал рану, туго обкатав бинтом Петину поясницу.

Петя застегнулся и снова надел пояс с пистолетом и полевой сумкой, которые теперь показались ему слишком тяжелыми. Он с

сожалением посмотрел на свои попорченные осколком, пропитавшиеся кровью бриджи.

— Ничего, — сказал Колесничук, — отпарятся. Ходить можешь?

Петя встал и сделал несколько шагов, но тотчас почувствовал довольно сильную боль. Он пошатнулся. Фельдшер подхватил его под руки и бережно посадил на землю.

— Нет, нет, пустите меня, я пойду в цепь! — сказал Петя, понимая, что теперь его уже в цепь не пустят, а отнесут на носилках в тыл.

В это время по знаку фельдшера санитары сбегали куда-то в кусты и вернулись с носилками.

— Лягайте, господин прапорщик, — сказал фельдшер, деликатно подставляя Пете плечо.

— Хорошо. Но только не дальше полкового госпиталя.

— Это как бог даст, господин прапорщик. Счастливого вам пути!

В голосе фельдшера Пете послышалась плохо скрытая зависть.

Санитары, преувеличенно суетясь, помогли раненому прапорщику лечь на носилки, и покрыли его сверху продырявленным макинтошем, побитым осколками.

Они заметно торопились. Им явно не терпелось поскорее вместе с носилками раненого выбраться с линии огня в тыл.

— Ну, Петя, будь здоров, поправляйся, а я пошел догонять роту. Старайся попасть в Одессу,

кланяйся там моей Раисе.

Раиса была его молодая жена, попросту Раечка, урожденная Лурье, бывшая одесская гимназистка, хорошо знакомая Пете с детских лет.

Они поцеловались, и последнее, что видел Петя на поле боя, была долговязая фигура Колесничука, который, в каске на затылке, время от времени приседая и бросаясь на землю, бежал зигзагами по гребню высоты, догоняя свою цепь.

Санитары внесли Петю в глубокую расселину. Здесь раненого уже дожидался, дрожа от волнения, его вестовой — молодой миловидный солдатик последнего призыва, по фамилии Чабан.

Он бросился к носилкам и припал головой к погону прапорщика, заглядывая в его лицо своими нежными, девичьими светло-карими глазами, потемневшими от испуга.

— Что с вами, господин прапорщик?.. Что с вами, господин прапорщик? — повторял он бессмысленно. — А я уже думал, що вас зараз зовсим вбыло. — При этом он, не стесняясь, вытирал слезы рукавом своей летней травянисто-желтой гимнастерки.

— Где же это вы околачивались? — по-прежнему неестественно слабо, но уже с командирскими нотками в голосе сказал Петя. — В бою вестовому полагается быть вместе со своим офицером. Под суд захотели?

— Виноват, господин прапорщик. Трошки отстал, бо вы дуже швидко побежали вперед. А тут “он” как ударит сбоку... И все вокруг вас. А одна граната прямо-таки у вас под ногами разорвалась. Я уже думал, что клочков ваших не соберу. Стою на месте, аж весь трясусь тай плачу...

Чабан снова всхлипнул и посмотрел на своего прапорщика с восторженной улыбкой, как на ясное солнышко, даже немножко зажмурился.

— Ну, хорошо, потом расскажешь, а пока несите! — сказал Петя, услышав, что за гребнем снова — и довольно близко — началась ружейная пальба пачками и застучали пулеметы.

Но и без этого санитары поторопились.

Теперь, кроме них, носилки поддерживали неизвестно откуда взявшиеся еще два солдатика с винтовками, оба маленькие, проворные, суетливые, до смерти перепуганные и в то же время старающиеся быть как можно незаметнее.

— А вы, друзья, как сюда попали? — грозно спросил Петя. — Вы разве санитары?

— Никак нет, — с готовностью ответил один из них. — А мы пособляем санитарам.

— На случай, если чего-нибудь не так... — добавил другой.

— А ну, марш обратно в роту! — крикнул Петя.

— Слушаюсь, господин прапорщик! — с еще большей готовностью сказали оба солдатика в один голос, но никуда от носилок не отошли, а,

наоборот, ухватились за них еще крепче, всем своим видом стараясь показать, что они готовы на все, лишь бы как можно лучше услужить господину прапорщику.

— Я кому приказываю? — сказал Петя, угрюмо скосив из-под каски глаза.

Но тут кончилась лощинка, и носилки снова оказались на открытом месте.

Вероятно, баварскому артиллерийскому наблюдателю эта небольшая кучка солдат, окруживших носилки, показалась в бинокль среди складок местности тем, что на военном языке называется “скоплением неприятеля”.

Через минуту прилетело несколько немецких шрапнелей, которые разорвались в разных местах — высоко и низко, — повиснув в воздухе зловеще-темными шарами дыма.

Петя лежал на носилках вверх лицом, и ему некуда было деться. Он снова почувствовал отчаянный, животный ужас. Как! Провоевать два года, получить такое удачное ранение и быть так глупо, так безжалостно убитым на носилках по дороге в тыл, именно теперь, когда через каких-нибудь четверть часа он будет спасен от всех ужасов войны!

Но что же делать? Он прикрыл лицо каской. Его сводило с ума собственное бессилие.

— Братцы! — крикнул он солдатам. — Выручайте! Всех представлю к георгиевскому кресту за спасение офицера под огнем!

Солдаты, которые и сами были не прочь спастись вместе с раненым офицером, побежали рысью, так что каска стала подпрыгивать на лице прапорщика, довольно ощутительно ударяя его по носу.

И скоро носилки оказались в безопасности. Поле боя осталось далеко позади, и над ним туда и назад продолжали летать наши и немецкие корректировщики, окруженные оспинками шрапнельных разрывов.

2. СВЕРЧКИ

Все это происходило жаркой солнечной осенью 1917 года в Румынских Карпатах, в первые часы русского наступления, начатого по всему фронту после двухдневной артиллерийской подготовки.

Петя понимал, что ему здорово-таки повезло. Недаром же у него было две макушки. Он оказался первым раненым офицером по всей дивизии. Поэтому его эвакуация в тыл совершилась со сказочной легкостью.

Офицерское отделение только что развернутого в громадных палатках полевого дивизионного лазарета было еще совсем пусто. Первого раненого прапорщика встретил весь медицинский персонал во главе с главным врачом-хирургом в еще чистом, накрахмаленном халате, из-под которого выглядывали лакированные сапоги с маленькими штаб-офицерскими шпорами.

Хирург изнывал от ожидания.

Заметив носилки с прапорщиком, он тотчас отбросил в сторону папиросу “Лаферм” и натянул черные резиновые перчатки, при виде которых у Пети потемнело в глазах.

— На стол! — крикнул хирург наигранно грубым голосом, таким самым, каким, по его мнению, должен был кричать великий Пирогов

на бастионах осажденного Севастополя.

— Ножницы! — услышал Петя над собой ужасный голос, едва только его положили на грубо сколоченный сосновый стол, покрытый клеенкой.

“Боже мой, для чего же ножницы?” — со страхом подумал Петя и жалобно посмотрел на хирурга, который изо всех сил раздувал сизые щеки, шевеля усами, рыжими, как медная проволока.

— Разрежьте ему шаровары! — скомандовал хирург с таким видом, как будто малейшее промедление грозило раненому смертью.

— Умоляю вас... Я сам... — пролепетал Петя и слегка приподнялся на локте, забыв в этот миг, что он ранен.

Не хватало, чтобы искромсали ножницами его шикарные выходные бриджи, которые хирург так вульгарно и пренебрежительно назвал шароварами.

— Что же ты стоишь, как бревно, я не понимаю. Помоги же! — плаксиво сказал Петя своему вестовому, который ни жив ни мертв стоял возле распахнутого входа в операционную палатку, с ужасом ожидая, что сейчас начнут резать его любимого начальника.

Но Чабана в операционную не пустили, и Пете самому пришлось расстегнуться и обнажить перевязку.

— Сапожники! — сказал хирург, разрезая

кривыми ножницами промокший окровавленный бинт и с отвращением бросая его в пустое ведро. — Шмаргонцы! Даже перевязать толком не смогли раненого прапора. Зонд!

Он сделал зверские глаза, которые за увеличительными стеклами небольших золотых очков зашевелились, как у рассерженного бычка, и в ту же секунду в его откинутой назад руке очутился зловеще изогнутый, длинный, страшный инструмент с неприятно блестящим никелированным шариком на конце.

— Ой, не надо! — совсем по-детски сказал Бачей. Но хирург не обратил на это внимания и твердо, но в то же время очень легко насквозь проткнул рану гибким зондом.

Петя зажмурился, застонал от тупой боли, которая, впрочем, оказалась не так сильна, как можно было ожидать при виде окровавленного конца зонда с шариком, вылезшим из выходного отверстия раны.

— Болит? — бодро спросил хирург.

— Болит, — бодро ответил Петя и немножко застонал, хотя этого можно было и не делать.

— Но не очень? — пытливо спросил хирург.

— Но не очень, — согласился Петя. — Но все-таки...

— Прекрасно, — сказал хирург, вытаскивая зонд, отчего раненый опять застонал, на этот раз произвольно.

Он хотел зажмуриться или отвернуться, но

как замороженный не мог отвести глаз от своей сочащейся раны.

— Молодец прапорщик! — сказал хирург, ощупывая Петино бедро со всех сторон. — Кость не задета. Ну, счастлив ваш бог. Могло быть куда хуже.

Услышав, что кость не задета, Петя почувствовал нечто вроде разочарования и даже некоторого испуга.

Но следующие слова хирурга его успокоили.

— Сейчас мы сделаем вам дренаж, и можете отправляться дальше, на эвакуационный пункт. Не будем вас задерживать, тем более, что через час-полтора здесь на одной койке будет валяться по четыре раненых, и мы не будем знать, что с ними делать, куда их девать.

Хирург мотнул своей коротко остриженной медно-рыжей головой в сторону передовых позиций, откуда по всему фронту продолжало грозно перекатываться и греметь, отчего полотняные стены операционной с вделанными в них окошками все время вздрагивали и колебались.

Когда в оба отверстия раны были вставлены резиновые трубочки — дренажи, приклеены пластырем, закутаны ватой и нога твердо забинтована, Петя вдруг почувствовал такую сонливость, что мгновенно заснул, но сейчас же его разбудил собственный храп.

Теперь он уже лежал на свежем воздухе, в

тени под деревьями, и хирург что-то наливал в лазаретную эмалированную кружку из красивой французской бутылки.

— Выпейте коньяку, это вас подкрепит. Мартель. Подарок доблестных союзников.

Петя хлебнул французского коньяка. Едкая пахучая жидкость потекла по его подбородку. Он закашлялся.

— Заешьте, — сказал хирург и сунул прапорщику в рот кусок английской галеты. — Подарок доблестных союзников. И будьте здоровы. Сейчас вам принесут документы, аттестат и все прочее, а я пойду резать людей, видите, публика подваливает. Горячий будет денек! — прибавил он.

Петя увидел, что все вокруг успело заметно измениться.

В лесу между палатками госпиталя, где совсем недавно было еще безлюдно, теперь, откуда ни возьмись, появилось множество раненых — солдат и офицеров.

Они притазились сюда с передовой линии пешком или, в лучшем случае, были принесены на носилках, которых, как это всегда бывает во время больших сражений, не хватало.

Раненые лежали, сидели и стояли в сухой, жаркой тени небольших карпатских сосен, ожидая очереди на перевязку или операцию.

Со своими измученными, запылившимися лицами и окровавленными, промокшими

перевязками они не произвели на Петю никакого впечатления. За время службы в действующей армии он уже успел достаточно насмотреться на раненых.

А главное, он сам был ранен, и это как бы давало ему моральное право не обращать внимания на чужие страдания.

Глядя на них, он только лишний раз убеждался в том, что ему сегодня во всех отношениях повезло.

Был бы он ранен часом позже, неизвестно еще, достались ли бы ему носилки, сделали бы ему так быстро и так тщательно перевязку, напоили бы его французским коньяком, а главное, эвакуировали бы его в тыл с такой, в сущности, пустяковой раной. С такими ранами обычно через неделю-другую человека снова отправляют на позиции.

Пете даже пришло в голову, слегка отуманенную мартеlem, что хирург может, чего доброго, передумать и вместо эвакуационного пункта отправить его куда-нибудь не дальше корпуса.

Чабан, посланный в канцелярию лазарета за бумагами, долго не возвращался, и Петя стал не на шутку беспокоиться.

Между тем санитары и солдаты, доставившие его сюда, мирно сидели в сторонке и хлебали из бачка лазаретный суп.

Пустые носилки стояли рядом.

— Вы здесь зачем околачиваетесь? — спросил Петя.

— Обедаем, господин прапорщик, — с искательной улыбкой ответил один из санитаров.

— Окопались? — грозно сказал Петя. — А ну в два счета марш в роту! Нечего тут валандаться!

Солдаты сделали вид, что страшно торопятся, засуетились, стали в последний раз изнутри и снаружи облизывать деревянные ложки, совать их черенками за обмотки, а на самом деле оставались, как пришитые, на месте.

— Кому сказано? — повысил голос Бачей. — Вы чего здесь дожидаетесь?

— Так точно, дожидаемся, чтобы вы всех нас переписали.

— Это еще зачем?

— Вы обещали.

— Я?

— Так точно. Как мы вас под огнем вынесли на своих руках из боя и как вы нам обещали за спасение офицера георгиевские кресты.

— А! — сказал Петя. — Это дело другое. Раз обещал, значит, сделаю. Ну, говорите свои фамилии.

Он вытащил из-под головы сумку и записал в полевую книжечку фамилии и звания своих спасителей, после чего они, пожелав прапорщику счастливого пути в тыл и еще довольно долго скручивая сигарки из солдатской газетки, “позыченной” у лазаретной прислуги, наконец

взяли пустые носилки и, не торопясь, побрели, мелькая среди деревьев, туда, откуда, ни на миг не утихая, продолжали доноситься зловеще громкие звуки большого сражения.

По этим звукам, как бы уже давно досадно застрывшим на одном месте, Пете было ясно, что наше наступление остановилось, пехота залегла и теперь ее изо всех сил молотит неприятельская артиллерия.

Раненых с каждой минутой прибывало все больше и больше.

Уже возле переполненных лазаретных палаток началась давка. Санитары укладывали раненых прямо под деревьями на одеяла.

Слышались стоны, недовольные возгласы, матерная брань, и уже неподалеку образовался митинг, откуда долетал рыдающий солдатский голос, выкрикивающий те самые слова, которые в последнее время повторялись всюду — в тылу и на фронте, — где только ни собирался митинг.

Эти слова еще не потеряли своей жгучей новизны.

Они были не плодом ораторского искусства, а с болью и яростью вырывались из самого солдатского нутра, из глубины народной души, истерзанной всеми муками трехлетней бойни.

— Будя! Попили нашей кровушки! Пора кончать, пока нас всех тут не переколотили! Бона, слышь, как молотит?

Митинг замолк. В минутной тишине бой

гремел особенно зловеще.

Пете даже показалось, что все вокруг потемнело и солнце скрылось в грозовой туче, хотя на самом деле безоблачный полдень продолжал сиять в предгорьях Карпат, весь пропитанный горячими запахами трав и различных древесных пород: сосны, дуба, бука, граба...

Петя почувствовал тошноту. Он надвинул на лицо свою помятую каску, накалившуюся от солнца, и закрыл глаза.

В это время прибежал Чабан с бумагами, а следом за ним подъехала санитарная двуколка, в которую Петю и погрузили.

— Ну, Чабан, прощай, — сказал он, засовывая бумаги в полевую сумку.

— Господин прапорщик, — проговорил Чабан с умоляющей улыбкой и даже осмелился нерешительно, хотя и довольно крепко взять Петю за плечо.

На лице Чабана было написано столько отчаянной, страстной надежды, что Петя сразу понял: вестовой просится вместе с ним в тыл.

— Ей-богу, ваше благородие, возьмите меня, — проговорил Чабан, переводя дух от смущения. — Ей-богу, возьмите!

Он даже употребил старорежимное, дореволюционное выражение “ваше благородие”, уже давно отмененное Временным правительством.

— Чудак человек, как же я могу?

Петя всей душой жалел этого человека, такого молоденького, поукраински красивого и нежного, который должен был немедленно возвращаться в цепь, получить винтовку и идти в бой, откуда вряд ли уже вернется.

— Господин прапорщик, вы можете. Вы все на свете можете!

Свято веря в эту минуту во всемогущество прапорщика, Чабан смотрел на Петю со страстной надеждой.

Петя был совсем не против того, чтобы взять с собой вестового. Сам так счастливо избегнув смерти, он теперь с радостью готов был спасти от гибели любого другого человека, своего ближнего, в особенности такого милого, как Чабан. Вся беда заключалась в том, что при старом режиме раненый офицер мог взять с собою в тыл денщика, то есть солдата, числившегося в нестроевой команде, а после революции не мог. Вестовой оставался в части.

“Убьют малого, это уж наверное”, — подумал Петя, испытывая какое-то странное, сложное чувство, похожее на стыд или, во всяком случае, неловкость от того, что вот он уже спасен и его уже наверняка не убьют, а если убьют, то не скоро, а вот Чабана так убьют безусловно и, весьма вероятно, сегодня же днем.

— Ваше благородие, господин прапорщик! — умоляюще говорил Чабан, держась за колесо, как

бы желая удержать двуколку. — Как же вы поедете без меня? Кто вам по дороге поможет? А я в случае чего и постирать могу и стоговорю поисты.

— Ладно, — сказал Петя решительно. — Зовите сюда начальника госпиталя.

— Не могу. Не имею права. Не положено, — сказал начальник госпиталя, приведенный Чабаном. — А впрочем, делайте, как хотите! — прибавил он и вдруг раздраженно закричал: — Пускай хоть вся армия уезжает! Тем скорее кончится вся эта революционная петрушка. Вы! Как там ваша фамилия? — спросил он вестового, подчеркивая слово “вы”.

— Чабан, ваше высокоблагородие!

Начальник госпиталя поморщился так, словно поел мыла.

— Можете сопровождать своего прапорщика, но только без аттестата. Аттестат пусть вам выдаст в тылу воинский начальник, если, конечно, он вас не арестует за дезертирство.

— Я отвечаю, — сказал Петя покраснев.

— Ну так и отправляйтесь, — сказал начальник госпиталя, — я умываю руки. Идите вы все к черту!

И громко плюнул.

Двуколка тронулась и въехала в лес, подпрыгивая по корням.

Это был лиственный прохладный лес с бархатисто-серыми стволами и неподвижной

листвой, как бы очарованно застывшей в однотонно-зеленом воздухе.

Из заросших лесных расселин тянуло приятной сыростью.

Иногда жаркие лучи солнца пробивались сквозь буковую листву и скользили по лицу прапорщика, заставляя его жмуриться.

Здесь было так тихо и мирно, что даже сравнительно недалекий грохот боя уже не казался таким грозным, и Петя испытывал упоительное чувство безопасности.

Иногда двуколка пересекала поляны, поросшие перезревшей травой. Тогда вокруг слышался сухой треск кузнечиков. Он вызывал в Петинем воображении картину степной ночи, когда на громадном пространстве как бы рассыпаны мириады крошечных косцов, дружно продолжающих какую-то свою косовицу, начатую еще днем.

Давно не слышал Петя вокруг себя этих мирных, убаюкивающих звуков.

— Слышь, Чабан, — не открывая глаз, спросил он. — Что это такое?

Чабан не понял, о чем его спрашивают. Ему даже показалось, что его офицер бредит. Он с испугом посмотрел на Петю.

— Чего изволите? — спросил он жалостливым, бабьим голосом.

— Я говорю, это что, сверчки, что ли? — повторил Петя. — Или, может быть, у меня

шумит в ушах?

— Так точно, — еще более жалобно ответил Чабан. — Це у вас в ушах шумит.

Петя прислушался.

— Да нет же, это не в ушах. Неужели ты ничего не слышишь?

Чабан с недоумением посмотрел на своего офицера и стал прислушиваться.

— Ну? Ничего не слышишь? — спросил Петя с тревогой.

— Слышу, — ответил Чабан.

— Что же ты слышишь?

— Слышу цвиркунов. А никаких сверчков не слышу.

— Ну, так цвиркуны — это и есть то же самое, что по-русски сверчки! — Петя сказал с облегчением, потому что и сам было испугался, не начинаются ли у него галлюцинации слуха.

Несколько раз Петя засыпал и просыпался от толчков двуколки.

К вечеру его привезли на какой-то эвакуопункт и положили на нары в офицерском бараке, который, в сущности, ничем не отличался от солдатского и был переполнен ранеными, свезенными сюда со всей армии.

Петя лежал в духоте, вплюснутый между двумя ранеными офицерами, из которых один все время вздрагивал и стонал, а другой лежал неподвижно, высунув сапоги из-под коротко обрезанной пехотной шинели. Он не дышал, и

Пете все время казалось, что он уже умер.

В бараке было темно и душно. Горела только одна маленькая керосиновая лампочка с черным от копоти стеклом.

Пахло больничной соломой.

Звуки сверчков не прекращались. В ушах утомительно стрекотало. Но Петя понимал, что это уже не настоящие сверчки, так нежно и сонно бормотавшие о счастье, а сухой шелест крови, торопливое стрекотание пульса, признак поднимающейся температуры, надвигающегося беспамятства и мучительного “пиит-пиит-пиит” Андрея Болконского.

Ему померили температуру. Было тридцать восемь и два.

Рана по-прежнему не болела, но все тело ныло и дрожало, как отравленное.

Петю стала трясти лихорадка. Тошнило.

“Ага, тебе хотелось так легко выскочить из пекла. Ты хотел обмануть судьбу. Ты думал, что уже все обошлось и ты спасен, — быстро, прерывисто нашептывал ему жаркий сверчковый голос. — Нет, дорогой мой, так не бывает. За все надо платить. Надо платить. Надо расплачиваться. Расплачиваться...”

Чабан навалил на прапорщика груды госпитальных одеял, но от них Пете не стало тепло — его продолжало знобить, морозить, — а сделалось еще противнее, неудобнее, до обморока тошнотворнее.

Петя временами терял сознание.

Рана больше не болела, стала нечувствительной. Но именно эта странная нечувствительность, онемение тканей казались особенно зловещими.

Теперь Петя был уже уверен, что у него начинается гангрена. Ему представлялось это страшное слово “гангрена” в виде медленно ползущего длинного животного, покрытого черными пятнами с желтовато-розовыми краями, причем это животное в то же время было также его онемевшим бедром.

Петя стал бредить.

Это было тягостное ползание по сильно пересеченной местности, среди ящиков с французским коньяком и английскими галетами, среди неразорвавшихся тротильных гранат, среди развешанных предохранительных сетей от минометных снарядов, среди рельсов прифронтной узкоколейки, по которой туда и назад ползали вагонетки с боеприпасами и медикаментами.

Ему преграждали путь глубокие окопы, обшитые тесом, ужасно неудобные ходы сообщения, по которым никуда невозможно было приползти, так как они все непонятным образом переходили в некую абстракцию пространства, близкую к бесконечности.

Он натыкался на штабеля снарядов. Он останавливался на краю квадратных ям,

вырезанных в глине, откуда торчали почти под прямым углом стволы дальнобойных пушек Виккерса, бесшумно извергавшие длинные языки пламени.

Между тем пересеченная местность все время куда-то сползала и заваливалась, как несколько слоев тяжелых лазаретных одеял, и все время рядом лежал мертвец с закрытым лицом и грязными сапогами, вытянутыми из коротко обрезанной шинели.

Среди этого нагромождения иногда появлялся солдатик с неразборчивым, совсем темным лицом и подносил к Петиным губам кружку с обжигающим и вместе с тем как бы не имеющим температуры придымленным чаем.

Солдатик плакал, и Петя понимал, что он называется Чабан, но кто он такой, и что значит это слово “чабан”, и какое оно имеет к нему отношение, он уже не понимал и, как ни старался, не мог отдать себе в этом отчета.

В то же время вокруг непрерывно шумели солдатские митинги, выносившие резолюции о немедленном прекращении этой многослойной пересеченной местности.

Через несколько суток Петю вынесли на носилках вместе с другими ранеными и при свете разных — госпитальных и железнодорожных — фонарей торопливо погрузили в санитарный поезд, который тотчас отошел от станции.

3.

СТЫЧКА С КОМЕНДАНТОМ

Целый день поезд утомительно медленно полз среди гористых пейзажей, осенних рощ, часто останавливался, пока к ночи окончательно не остановился на станции Яссы, забитой воинскими эшелонами и маршевыми ротами.

Петю выгрузили и вместе с другими ранеными перенесли в какойто громадный сумрачный католический монастырь, превращенный в госпиталь.

Чабан сбегал в город и скоро вернулся, сообщив новости, которые узнал по так называемому “солдатскому телеграфу”. Немцы прорвали фронт, перешли в наступление, и теперь никто не знает, где свои и где чужие и куда можно отправлять санитарные эшелоны с ранеными, чтобы не угодить к немцам.

— Подлецы! — сказал Петя, вскакивая с носилок. — Чабан, одеваться!

Он чувствовал себя еще довольно слабым, но уже гораздо лучше, чем прошлой ночью.

Температура упала. Нога не болела. Правда, немножко знобило, но этот легкий озноб даже как-то бодрил.

— Ах, подлецы! — все время повторял Петя, с помощью вестового просовывая забинтованную ногу в узкую штанину бриджей.

Его охватило беспокойство.

Он очень хорошо понимал, что значит во время отступления попасть на прифронтовую узловую станцию, забитую эшелонами.

Настоящая ловушка.

И главное, когда все так хорошо устраивалось!

Петя кипел от негодования и в то же время готов был заплакать с досады, как мальчик: вместо того чтобы благополучно эвакуироваться в тыл, в родную Одессу, еще, чего доброго, очутишься в плену.

Этого еще не хватало!

— Нет, черт бы их всех побрал! Сапожники! Шляпы! Довоевались!

Раненые офицеры, размещенные вместе с Петей в темной, прохладной трапезной монастыря, разделяли его негодование.

Они так же, как и Петя, готовы были тоже вскочить с носилок и ринуться на станцию для того, чтобы расправиться со шляпой, военным комендантом, этой жалкой крысой, окопавшейся в тылу, но, к сожалению,, никто не мог этого сделать, так как все были тяжелораненые, кроме Пети.

Таким образом, прапорщик Бачей сразу сделался как бы их представителем.

— Послушайте, прапорщик, — раздавалось со всех сторон, — взгрейте их там как следует!

— Цукните их хорошенько!

— Эту тыловую сволочь!

— Покажите им, коллега, кузькину мать, ля

мер де ля Кузька!! — весело кричал поручик с отрезанной по колено ногой, видимо, из студентов, который, не переставая, острил и каламбурил, как бы желая заглушить в себе, перекаламбурить ужасное душевное состояние, терзавшее его днем и ночью и не дававшее ни на минуту уснуть, забыться.

Кто-то протянул Пете желтый лазаретный костылик — палочку с резиновым наконечником, — и Петя сначала неуверенно, шатко, боясь ступить на раненую ногу, а потом все тверже и тверже, бережно поддерживаемый вестовым, вышел из монастыря с тем, что он разнесет в пух и прах коменданта и заставит немедленно погрузить всех в поезд и отправить в Россию, не дожидаясь, пока западня захлопнется.

Это было грубое нарушение лазаретных правил.

Напрасно румынский военный врач в нарядном мундире с красивыми иностранными орденами и две молоденькие дежурные сестры-урсулилки в своих белоснежных батистовых накрахмаленных громадных головных уборах пытались остановить прапорщика в дверях, даже хватали его за руки, но Петя строптиво вырвался от них и по скверной фронтовой привычке, сам того не заметив, пустил такое выражение, что Чабан застенчиво покраснел и пугливо посмотрел на черное распятие на белой стене.

Привычное состояние боевого раненого

офицера, да к тому же еще и георгиевского кавалера, попавшего в тыловую обстановку, охватило Петю, едва он добрался до железнодорожной станции, полной слоняющихся солдат.

Петя сразу же хотел пройти к военному коменданту, но молодой донской казак с винтовкой за спиной преградил ему дорогу протянутой плеткой, сказав, что посторонним вход воспрещен.

— Это я посторонний? — сказал Петя, побледнев до корней волос, и ударил костылем по плетке. — С дороги!

— А ты, ваше благородие, не шуми.

— С дороги! — в бешенстве закричал Петя. — Не видишь, с кем разговариваешь?

— Видали мы таких керенских геройчиков, студентов, — проговорил казак, продолжая стоять на месте, не сводя с Пети своих весело прищуренных, наглых глаз.

Кровь бросилась Пете в голову.

— А! — крикнул он голосом, который ему самому показался ужасным, и что есть сил ударил костыликом по какому-то станционному чугунному столбику.

Ручка отломилась, и костылик полетел, скользя и подпрыгивая по перрону.

На шум выскочил комендант — пехотный капитан с пустым рукавом гимнастерки, заткнутым за тугой пояс.

— Господин капитан, — сказал Петя, дрожа от негодования, — когда прекратится этот кабак? Почему нас выгрузили здесь и не отправляют дальше?

— Во-первых, попрошу вас не скандалить и стоять по уставу, когда вы обращаетесь к офицеру, старшему по чину.

Тут Петя увидел на рукаве капитана черно-красный треугольный шеврон так называемого ударного батальона.

— А во-вторых, какого дьявола вы суетесь не в свое дело? Распустились! Вольнопер позволяет себе делать замечания. Когда отправят, тогда и отправят. Вам что? Не терпится поскорее на фронт, получить немецкую пулю в задницу? Не суйтесь поперед батьки в пекло. Успеете.

— Да я, наоборот, не на фронт, а в тыл, — простодушно сказал Петя, понемногу остывая и не без некоторого уважения разглядывая на гимнастерке капитана орден Владимира четвертой степени с мечами и бантом.

— Вот как?

Капитан зло сощурил глаза.

Петя понял, что сморозил глупость, произвольно покраснел и замялся.

— То есть не лично я, а, так сказать, мы... То есть все раненые... Нас всех почему-то выгрузили из поезда и посадили в какойто монастырь...

— Вот как! — еще более грозно повторил капитан, не слушая Петиних объяснений. —

Значит, вы изволите торопиться с фронта в тыл? Драпаете?

Он очень четко, сквозь зубы, с особенным зловещим удовольствием произнес это новое фронтовое словечко “драпаете”, только что вошедшее в моду на румынском фронте.

— Драпаете-с?

— Попрошу вас в таком тоне не разговаривать с раненым офицером! — вспыхнул Петя. — Это не мы драпаем, а вы драпаете со всеми вашими знаменитыми штабами.

Лицо коменданта странно окаменело, но Петя не обратил на это внимания. Он уже не владел собой. Его понесло.

— Развалили к чертовой матери фронт, а теперь, вместо того чтобы ликвидировать прорыв, бросаете на произвол судьбы раненых и устроили здесь... кабак!

Он уже вовсе не соображал, что говорит, и очнулся лишь тогда, когда близко от себя увидел покрасневшее, с белым глянцевитым шрамом на переносице лицо капитана, его темные брови и крепко стиснутые собачьи зубы.

— Что? Прорыв?

— Прорыв, — машинально повторил Петя, уже смутно догадываясь, что говорит нечто совсем неладное.

— Замолчать! Как вы смеете! Мальчишка! — крикнул капитан ужасным голосом и стал шарить пальцами по кобуре револьвера. — Прорыв? —

сказал он, понизив голос, отчего его голос стал еще ужаснее. — Да за такие слова я вас сейчас... Тут же на месте... За распространение провокационных слухов... Приказ Корнилова знаете?

Казак снял с плеча винтовку.

Но, к счастью, вокруг Пети и капитана уже собралась толпа солдат, которые в это время привыкли с подозрением следить за офицерами, прислушиваться ко всем их разговорам.

Теперь они молча, в вольных позах стояли вокруг, недоброжелательно поглядывая то на Петю, то на коменданта, решая вопрос, кто из них прав.

И Петя никак не мог понять значения их пытливых, изучающих взглядов.

В присутствии солдат капитан сразу переменялся.

— Вперед, знаете ли, не рекомендую вам распускать панические слухи, — сказал он скорее ворчливо, чем грозно. — А то видите, что делается... — Он кивнул на солдат. — Что же касается ваших раненых, то они будут отправлены с первым же санитарным поездом. Больше вас не задерживаю. Можете идти.

Казак равнодушно надел винтовку.

Капитан козырнул, бросил на Петю внимательно-недобрый взгляд и скрылся в своем помещении, а Петя побрел по перрону, опираясь за неимением костылика на плечо вестового.

Солдаты некоторое время молчаливо следовали за ними, для того чтобы послушать, о чем будут разговаривать между собой офицер и вестовой. Но так как оба молчали, то солдаты мало-помалу рассеялись, продолжая наблюдать за ними издали, но уже без особого интереса.

Казалось, что стычка с комендантом кончилась благополучно.

Но в глубине души у Пети остался неприятный осадок. Было что-то слишком мстительное, ядовито-изучающее в последнем взгляде коменданта, и Петя испытывал предчувствие какойто нависшей над ним беды.

Он не ошибся.

4. ДОЛОЙ ВОЙНУ!

Желая поскорее смешаться с толпой, наполнявшей привокзальную площадь, Петя и Чабан быстро сошли по ступеням и очутились среди солдатского моря. Площадь только тем и отличалась от станционных площадей русских юго-западных железных дорог, что над зданием вокзала висел румынский флаг и вместо трактира напротив находилась кофейня со столиками на улице и высоким шестом, на котором тоже висел маленький румынский флажок.

Скирды свежеемолоченной соломы, блестя сухим золотом на сентябрьском солнце, виднелись кое-где в привокзальных дворах. Пахло базарной пылью, половой, полынью, кукурузой.

Но все эти мирные краски солнечной румынской осени были нарушены неумолкаемым говором солдатской толпы — утомительнооднообразным, грозным.

Слышались выкрики ораторов.

Петя заметил, что этот митинг сильно отличается от тех митингов, к которым он привык на позициях.

Там, в перерыве между боями, солдаты стояли молчаливо в своих касках, как бы прикованные к земле тяжестью своих вещевых мешков, подсумков, противогазов и оружия.

Они с угрюмым вниманием слушали ораторов, по большей части молодых, говорливых унтер-офицеров из вольноопределяющихся или прапорщиков с университетскими значками и красными бантами на груди. Ораторы призывали к войне до победного конца, изредка поднимая головы вверх, для того чтобы проводить глазами маленький немецкий разведчик “Таубе”, осыпанный белыми оспинками наших шрапнелей.

Здесь же Петя увидел солдат, взвинченных, обозленных. Они не столько слушали ораторов, сколько сами кричали, перебивая друг друга.

Это было смешение всех родов войск.

Одни застряли здесь по дороге на фронт. Другие только что сменились с позиций. Третьи — с распутившимися обмотками, грязными вещевыми мешками и угрюмо бегающими глазами — были дезертиры.

Солдаты обменивались новостями, и так называемый “солдатский телеграф” раздувал самые мрачные слухи о положении на фронте и подливал в огонь масло.

Митинги горели в разных частях площади, как костры.

То, что на фронтовых митингах, рядом с позициями, произносилось с некоторой опаской, здесь звучало в полный голос, с криками, рыданиями и швырянием фуражек на землю.

Среди защитных солдатских рубах мелькали синие воротники и белые голландки матросов Дунайской флотилии. Струились георгиевские ленты черноморцев. Виднелись черные кожаные куртки самокатчиков и нижних чинов автомобильных команд.

Гул стоял мрачный, грозный, как на большом пожаре.

Но он не пугал Петю.

После стычки с комендантом прапорщик испытывал такое же чувство озлобления и протеста против войны, против мясорубки и бойни, откуда он только что так счастливо вырвался, каким были охвачены все эти митингующие с утра до вечера солдаты.

Отовсюду неслись крики ораторов, требующих мира, земли, хлеба.

Насчет земли и хлеба Петя был равнодушен. Но мира жадно просила вся его душа, все его молодое, здоровое тело, так грубо раненное и еще не совсем очнувшееся от ужаса смерти, пролетевшей над ним так близко.

— Долой войну! — кричал недалеко от Пети солдатик-пехотинец с грязным, измученным лицом и расстегнутым воротом выгоревшей гимнастерки с зелеными пятнами под мышками.

В одной руке он держал, как горшок, свою каску и размахивал ею, другую же руку, раненую и обмотанную окровавленным тряпьем, протягивал слушателям.

— Кидай винтовки и ходу домой, пока нас всех тут не переколотили!

У него были красные, воспаленные глаза. Видимо, он горел в жару и его бил озноб.

— Верно! Правильно! — кричали в толпе. — Пока мы тут будем проливать кровь за кадетов, наши дети дома с голодухи подохнут!

— Верно! — вместе с другими закричал и Петя, внезапно рванувшись вперед.

Он не разбирал слов, которые раздавались вокруг него. Он только слышал всхлипывающие, рыдающие, отчаянные звуки солдатских голосов.

Петей уже овладел митинговый азарт, тот самый, который в те времена непроизвольно вспыхивал в душе каждого человека, как сухой порох, от самой маленькой искорки чужого голоса.

Он сам не заметил, как очутился на козлах походной кухни возле раненого солдатика, продолжавшего с белыми, остановившимися глазами и открытым ртом во все стороны совать свою раненую руку в зловонном, окровавленном тряпье, облепленном зелеными мухами.

— Подождите, дайте мне!.. Дайте мне, я хочу сказать!., — с нетерпением говорил Петя, становясь рядом с солдатиком, и отстранил его плечом.

Он и сам не знал, зачем ему это понадобилось, но удержаться не мог и не хотел.

Его распирало от мыслей и чувств, которые

требовали немедленного выражения. Ему хотелось тут же, сию секунду излить все свое негодование против безрукого коменданта, против наглого старорежимного казака с плеткой, против всей тыловой сволочи, которая не хотела войти в его положение и как можно скорее отправить его домой.

Он отстранил солдатика плечом совсем не потому, что собрался с ним спорить. Напротив. Он был с ним абсолютно согласен, но только считал, что все это он сумеет рассказать гораздо лучше, убедительнее.

— Граждане солдаты! — взволнованно начал Петя. Но, заметив, что обращение “граждане” неприятно насторожило против него весь митинг, быстро поправился и крикнул: — Товарищи!

Он сорвал свою помятую осколками каску и замахал ею над головой.

— Товарищи солдаты! — с упоением кричал он, не слыша собственного голоса. — Вот я, например, тоже прямо с передовой, из боя. У меня ранена осколком нога. — Он говорил совсем не то возвышенное, замечательное, что ему хотелось сказать, но то, что он говорил, выкрикивал осипшим голосом, было именно той самой простой солдатской правдой, которой так жаждала его душа. — Вот тут... смотрите, братцы... в верхнюю треть бедра, — почти жалобно произнес прапорщик Бачей, показывая

окружавшей его толпе солдат, куда именно он ранен. — А вместо того чтобы нас, раненых, отправить в тыл, нас почему-то держат здесь, и мы, того и гляди, попадем немцам в плен, потому что Макензен опять прорвал фронт, и если он пережмет железнодорожную ветку Яссы — Кишинев, то нам всем тут вата, — с удовольствием произнес Петя новое солдатское словечко “вата”, обозначающее конец, гибель.

В толпе заплодировали, но не слишком сильно. Петя слез с походной кухни, и у него было такое ощущение, будто он произнес очень длинную, блестящую речь, покрытую бурей аплодисментов. В то же время он увидел казачий разъезд, медленно, зловеще пересекавший площадь.

Февральская революция уже совершилась, царя свергли, а казаки с плетками медленно пересекали площадь, как выходцы из старого мира, как привидения.

Однако они совсем не были привидениями.

Весь митинг с недоверием и страхом следил за донцами, каждую минуту готовый либо рассеяться, либо вступить в драку.

Пете показалось унижительным, до глубины души обидным, что солдаты — фронтовики, герои, граждане новой России, несмотря на свободу и революцию, продолжают бояться казаков.

Он вспомнил 1905 год, с ненавистью

прищурился и, отставив ногу, довольно громко сказал:

— Подонки самодержавия!

Казачи не обратили на эти слова никакого внимания, и разъезд так близко проехал мимо прапорщика, что его обдало острым запахом пыльных лошадей и он услышал волосяной свист конских хвостов, отмахивающихся от жирных осенних мух.

Но казачий есаул с выточенным лицом белого шахматного конька искоса взглянул на прапорщика и, откинувшись на седле назад, что-то негромко сказал своему вестовому.

— Ишь, красавцы! — еще более сузив глаза, с вызовом обратился Петя к солдатам. — Видели подобных фруктов? Они думают, что это им старый режим! Гнусное казачье!

— Кадеты, корниловцы! — крикнули в толпе, но не слишком уверенно, и казачий разъезд, молчаливо миновав площадь, скрылся за углом.

Вечером в госпитале Петя уже собирался лечь в белоснежную постель, приготовленную урсулинками, предвкушая скорое возвращение домой, в Одессу, легкие, приятные сновидения, как вдруг в монастырской галерее раздались грубые звуки шагов, звон шпор, стук шашек, и Петя увидел нескольких солдат и унтер-офицеров, которые, отстранив дежурную сестру-урсулинку, шли по галерее прямо на прапорщика со злыми, решительными лицами.

— Вот этот самый и есть, — услышал Петя. Прежде чем он успел прийти в себя от неожиданности, его окружили.

— Вы арестованы! — с ненавистью глядя Пете прямо в глаза, сказал толстый фельдфебель-подпрапорщик с алым атласным бантом и полной колодкой георгиевских крестов и медалей на жирном туловище, перехваченной офицерским поясом с солдатской шашкой, с офицерским темляком.

— А что я сделал? — запинаясь, спросил Бачей, причем чуть было не прибавил титулование — “господин подпрапорщик”.

— Ваше оружие! — сказал, выступая из-за спины фельдфебеля, строгий артиллерийский поручик, у которого на груди тоже был алый атласный бант.

Не чувствуя за собой никакой вины, прапорщик отстегнул пистолет и кортик и подал их артиллеристу, пожав плечами и сделав ироническую улыбочку.

Но это не произвело никакого впечатления.

— Следуйте за нами!

Его провели по темному, угрожающе пустынному ночному городу с конным памятником какому-то генералу или королю, и он очутился в комнате без мебели, куда тотчас втолкнули офицерскую раскладную койку-сороконожку без подушки и одеяла, и, оставив внутри комнаты часового, захлопнули дверь, а

снаружи, в коридоре, поставили другого часового.

Петя понял, что с ним происходит что-то очень нехорошее. Когда же он взглянул в окно и при свете садового фонаря увидел внизу третьего часового, его длинную тень на садовой дорожке, то растерялся. Это был не простой арест, а самый строгий, который применяется лишь тогда, когда арестованный подлежит военнополовому суду.

Бачей, конечно, никак не мог применить к себе подобный случай, даже отдаленную возможность военно-полевого суда. Он вообще считал, что все это глупая ошибка. И все же в глубине души испытывал ужас.

— Я не понимаю, в чем дело, зачем меня сюда заперли, — несколько раз обращался он к часовому, который неподвижно стоял у двери с винтовкой у ноги и не отвечал на вопросы прапорщика.

Петя, конечно, очень хорошо знал из устава гарнизонной службы, что часовой не имеет права разговаривать с арестованным. Он также знал, что в случае побега часовой имеет право стрелять и убить. Но все это до сих пор была теория. Теперь это была практика. Попав в положение арестованного, Бачей почувствовал, как это подлинно страшно: спрашивать, и не слышать ответа, и бояться выглянуть в окно, чтобы не получить пулю в голову.

— Да нет, вы мне только скажите: в чем меня

обвиняют? — почти жалобно спрашивал он часового, понимая, что ответа не может быть, а просто так, из наивного упрямства.

На столике горела свеча. Он вынул из сумки полевую книжку и на листке донесений стал писать начальнику гарнизона жалобу на самоуправство армейского комитета, требуя, чтобы ему либо немедленно предъявили обвинение, либо выпустили. Бачей требовал, чтобы часовой вызвал караульного начальника, но часовой продолжал сердито молчать.

Когда среди ночи началась смена караула и в комнату вошел новый часовой в сопровождении не только разводящего, но также почему-то караульного начальника и дежурного по гарнизону, мрачного штабскапитана с черепом батальона смерти на рукаве, Петя подал дрожащей рукой свою бумагу, но караульный начальник даже не пожелал ее взять, а брезгливо отстранил руку.

— Не понимаю, что это происходит! — воскликнул прапорщик Бачей. — Я требую, чтобы меня наконец выслушали. Здесь явное недоразумение. Пусть меня либо немедленно освободят, либо предадут суду.

— Суду? — сказал штабскапитан, прищурившись. — Много чести. Таких типов, как вы, расстреливают на рассвете, во дворе комендатуры. Срывают погоны и расстреливают без всякого суда.

— Но за что же? — пролепетал Бачей, чувствуя, что еще минута, и он потеряет сознание, — так все это было ужасно, непоправимо: одинокая свеча в темной пустой комнате, штыки часовых, тени на грязных стенах и в особенности ненавидящие глаза штабскапитана и череп на рукаве его гимнастерки. — За что же? — пересохшими губами повторил прапорщик.

— За измену. За панику. За пропаганду. Мальчишка!

— Вы не имеете права. Я офицер!

— Не офицер, а большевистская сволочь!

И не успел Петя что-нибудь сказать, как штабскапитан и все остальные, стуча сапогами, вышли из комнаты, и снова он остался наедине с молчаливым часовым и со своей громадной тенью, которая, повторяя беспорядочные движения языка свечки, колебалась на стене, доставая большой, как бы распухшей головой до середины потолка.

Теперь он уже не сомневался, что с минуты на минуту его вытащат из комнаты в сад, толкнут к стене, и он даже как бы видел перед собой эту стену с отвалившейся штукатуркой, обнажившей розовые кирпичи.

Петя несколько раз вскакивал с койки, не стесняясь часового, бегал по комнате, потом опять бросался ничком и закрывал глаза, заставляя себя заснуть. Но вместо сна он начинал

летать по комнате на своей койке, как на доске качелей — вверх и вниз, и вкось, — и это летание временами погружало его в беспамятство, однако не настолько глубоко, чтобы заглушить ужасные мысли, терзавшие его мозг.

Он понимал, что приближался тот критический миг, когда должна была наконец решиться судьба революции, и жизнь отдельных людей уже не имела значения. Он чувствовал себя песчинкой в завитке взбаламученной волны, которая, сверкая на солнце, катилась к берегу, каждую минуту готовая вдребезги разбиться о скалы.

Но ведь он был не песчинка. Он был живой. В нем был заключен весь мир со всей его древней и новой историей, религией, химией, поэзией, астрономией, а главное, с той неистребимой жаждой и силой жизни, которая одна могла удержать его от бессмысленного желания в порыве отчаяния разбить окно, закричать на весь этот чужой румынский город: “Спасите меня!” — и быть убитым пулей часового.

Он провел ни с чем не сравнимую и ни на что не похожую ночь, когда вихрь разнообразных мыслей, представлений и ощущений с умоисступляющей быстротой и постоянством вращается вокруг какойто одной неподвижной точки сознания, дошедшего до высшей степени не земной, но уже какойто небесной ясности.

Вся душа его болела множеством различных

болей, среди которых особенно мучительно ощущалась боль мысли о том, что будет с отцом, когда он узнает о гибели сына. Он жалел отца больше себя. Но он и отец в эти минуты в его сознании были как бы одним существом, странно разделенным в этом тягостном мире тюремной свечи, отраженной в черных стеклах окна. Все же перед самым рассветом, когда он так устал мучиться, что уже готов был покорно идти, когда его поведут, он на короткое время заснул без мыслей и сновидений глубочайшим сном приговоренного к казни. Он проснулся от тех звуков, которых ждал с таким ужасом всю ночь. Слышались торопливо бегущие шаги солдат, звон шпор, стук прикладов по метлахским плиткам коридора. Свеча уже догорела и потекла со стола, застыв на углу белым грибом. Но она была уже не нужна. Светало. Часовой неподвижно стоял у двери. Петя заметил, что у него встревоженное лицо. Казалось, он к чему-то прислушивается.

Откуда-то снаружи доносился беспокойно нарастающий, могучий, грозный шум громадной толпы.

Вдруг в комнату вошел штабскапитан из батальона смерти с черепом на рукаве. При слабом свете темного утра его лицо с обострившимися чертами казалось почти зеленым. В одной руке он держал пистолет прапорщика Бачея, в другой — его кортик и помятую каску.